



- <sup>31</sup> Далее зачеркнуто: Березовки.  
<sup>32</sup> Зачеркнуто: Бал.  
<sup>33</sup> Далее зачеркнуто: Софи.  
<sup>34</sup> Далее зачеркнуто неразборчиво написанное слово.  
<sup>35</sup> *Фет-Шенин А.А.* Письма к Новосильцову И.П. // ОР РГБ. Ф. 315. О. II. Картон 4. Ед. хр. 7. Л. 3 об.  
<sup>36</sup> *Блок Г.П.* Летопись жизни А.А. Фета. С. 150.  
<sup>37</sup> Там же. С. 151.  
<sup>38</sup> *Фет А.* Ранние годы моей жизни. С. 302.  
<sup>39</sup> Начальный отрывок этой повести опубликован в издании: *Фет А.А.* Соч. и письма: В 20 т. Т. 3. Повести и рассказы. Критические статьи. СПб., 2006. С.149–155.  
<sup>40</sup> *Фет А.* Мои воспоминания. Ч. I. С. 9.  
<sup>41</sup> Комментируя непростые отношения Фета с младшим офицерским составом полка, А.И. Григорович, бывший офицер и историограф этого полка, писал: «Некоторая шероховатость в течение первого года адъютантства Афанасия Афанасьевича в отношении с товарищами, раздутая фантазией поэта, отмечена им в воспоминаниях, записанных много лет спустя. Сохранившаяся в семейных архивах переписка Фета с бывшими однополчанами, а также рассказы И.П. Бернарди, Н.И. Гиржева, барона Ю.П. Толя и др. старых кирасир-орденцев устанавливают вполне дружеские товарищеские отношения». (см.: *Григорович А.И.* Указ. соч. С. 162).  
<sup>42</sup> Речь, вероятно, идет о В.П. Пилипенко, служившем в полку с 1845 по 1858 г. (см.: *Григорович А.И.* Указ. соч. С. 198).  
<sup>43</sup> Прототипом его стал корнет К.А. Гревс, служивший в полку в 1848–1851 гг.  
<sup>44</sup> Речь, вероятно, идет о В.В. Кашенко, служившем в полку в 1832–1854 гг.  
<sup>45</sup> *Фет А.* Ранние годы моей жизни. С. 437–438.  
<sup>46</sup> Там же. С. 449–454.  
<sup>47</sup> Этот сюжет впоследствии вошел в главу LVII воспоминаний под названием «Офицерское собрание в саду» (см.: *Фет А.* Ранние годы моей жизни. С. 457–462).  
<sup>48</sup> *Фет А.* Ранние годы моей жизни. С. 547.  
<sup>49</sup> Там же. С. 547–548.  
<sup>50</sup> В письмах Ревелиоти фамилия этого человека Вемберг.  
<sup>51</sup> Неточная цитата из стихотворения Фета «Был чудный майский день в Москве...». У Фета: «За гробом шла, шатаясь, мать, – / Надгробное рыданье! – / Но мне казалось, что легко / И самое страданье» (см.: *Фет А.А.* Соч. и письма. Т. I. С. 300).  
<sup>52</sup> ОР РГБ. Ф. 315. Оп. II. Картон 10. Ед. хр. 58. Л. 13–13 об.  
<sup>53</sup> *Фет А.А.* Ранние годы моей жизни. С. 465.  
<sup>54</sup> *Фет А.А.* Из моих воспоминаний // Русский вестник. 1888. Т. 197. Август. С. 3. Это вступление в окончательном тексте мемуаров заменено «Предисловием», хотя в указателе содержания главы это слово осталось, возможно, по технической ошибке Фета или издателя.  
<sup>55</sup> *Фет А.* Мои воспоминания. Ч. I. С. IV.  
<sup>56</sup> *Фет А.А.* Стихотворения. Проза. Письма. М., 1988. С. 393.  
<sup>57</sup> Письма С.В. Энгельгардт к А.А. Фету. Часть III (1884–1891) / Публ. Н.П. Генераловой // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1997 год. СПб., 2002. С. 129.  
<sup>58</sup> Секретарь Фета Е.В. Федорова писала А.В. Жиркевичу: «<...> я была у Афанасия Афанасьевича секретарем, заменяла ему глаза 6 лет и привязалась к нему всюю душой, всем сердцем» (Письма секретаря А.А. Фета Екатерины Владимировны Федоровой к А.В. Жиркевичу / Публ. Н.Г. Жиркевич–Подлесских // А.А. Фет и русская литература: Материалы Всерос. науч. конф. «XV Фетовские чтения». Курск, 2000. С. 20).  
<sup>59</sup> В письме к Энгельгардт от 3 (15) июня 1887 г. поэт признавался: «Чтобы коротко объяснить сущность дела, скажу, что я совершенно болен и у постели моей уже стоит кресло, чтобы сидеть на нем ночью, когда удушье поднимет из постели» (*Фет А.А.* Стихотворения. Проза. Письма. С. 392).  
<sup>60</sup> *Фет А.А.* Из моих воспоминаний // Русский вестник. 1888. Т. 197. Август. С. 3.  
<sup>61</sup> Из воспоминаний Ольги Н. // Русский вестник. 1887. № 10. С. 690–715; № 11. С. 159–180.  
<sup>62</sup> Письма С.В. Энгельгардт к А.А. Фету. Часть III (1884–1891). С. 125.

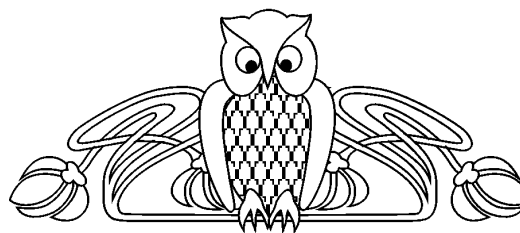
УДК 821.161.1.09-3+929 [Чернышевский + Чехов]

## ЧЕРНЫШЕВСКИЙ И ЧЕХОВ: КРИТИКА «МАЛЕНЬКОГО ЧЕЛОВЕКА»

Н.В. Новикова

Саратовский государственный университет,  
кафедра истории русской литературы и фольклора  
E-mail: Philology@sgu.ru

В статье рассматривается эволюция представлений Чернышевского о герое гоголевской «Шинели» (от апологетики гуманистического чувства к тому, «который нуждается в защите», до отрицания его права на сочувствие, до высказывания «невыгодной правды» о нём) с целью показать рецидивы подобного толкования маленького человека в отечественном чеховедении.



**Ключевые слова:** русская литература, Гоголь, Чернышевский, Чехов, «маленький человек», критика.

**Chernyshevsky and Chekhov: Criticism of «the Little Man»**

N.V. Novikova

The article examines the evolution of Chernyshevsky's views on the hero of Gogol's novella «The Greatcoat» (starting from humanistic compassion for «the one who needs protection» and finally arriving



to denial of his right to compassion, to telling «the unfavorable truth» about him) – in order to show the recurrence of such interpretation of «the little man» in our Chekhov studies.

**Key words:** Russian literature, Gogol, Chernyshevsky, Chekhov, «little man», criticism.

Для Чернышевского, чья литературно-критическая деятельность приходилась в основном на 1853–1863 гг., маленький человек существовал в обличье прежде всего гоголевского Акакия Акакиевича Башмачкина. Назвав его создателя в «Очерках гоголевского периода» (1855) «без всякого сравнения величайшим из русских писателей по значению»<sup>1</sup>, подчеркнув, что «он первый дал русской литературе решительное стремление к содержанию, и притом стремление в столь плодотворном направлении, как критическое» (418), Чернышевский касался прежде всего «Ревизора» и «Мёртвых душ». Вторая часть труда, с обзором «деятельности русских поэтов и беллетристов, начиная с Гоголя» (502), где можно было бы предположить и обращение к «Шинели», не была сделана. Однако уже в первой части мелькало сочувственное: «Гоголю многим обязаны те, которые нуждаются в защите» (421). Критик разделял гуманистический пафос писателя. Такое отношение к Гоголю сохранилось у него на протяжении по крайней мере ещё нескольких лет. В 1857 г., в статье «Сочинения и письма Н.В. Гоголя. Издание П.А. Кулиша» Чернышевский задавался вопросами: «Что же за человек был он (Гоголь. – Н.Н.) в последнее время своей жизни?» «Чего теперь хотел он в жизни для тех меньших братьев своих, которых так благородно защищал прежде?»<sup>2</sup> Критик склонялся к тому, что «человек, так сильно любивший правду и ненавидевший беззаконие, как автор “Шинели” и “Ревизора”, не способен был никогда, ни при каких теоретических убеждениях окаменеть сердцем для страданий своих ближних» (187).

Резкая перемена во взгляде Чернышевского на гоголевского маленького человека – в статье 1861 г. «Не начало ли перемены?» Статья, собственно, не о маленьком человеке, а, как известно, о намечающихся переменах в изображении народа. Критик усматривал у «мальчишек, вроде г. Успенского» (217), новый – «отрадный», по его мнению, – подход к коренной теме отечественной литературы, поскольку «наши прежние отношения к народу, как будто к невинному в своем злосчастии Акакию Акакиевичу, никуда не годятся» (217). Образ гоголевского героя мифологизировался и приносился в жертву более насущной задаче, ибо, считал Чернышевский, прошло время сострадательного внимания к забитому сословию, когда можно было «говорить о нём только то, что нужно для возбуждения симпатии к нему» (216). Близилось «время нужды в героическом», возрастала потребность «писать о народе правду без всяких прикрас» (214), «говорить о мужиках без церемоний» (254), «беспристрастно вникать в обстоятельства, от которых происходит его (народа. – Н.Н.) беда», «не конфузиться укоризнами»: «вы чувствуете, что в суровых ваших словах

слышится любовь к нему и что они полезны для него, – гораздо полезнее всяких похвал» (214). «Мы замечали, – писал Чернышевский, – что резко говорить о недостатках известного человека или класса, находящегося в дурном положении, можно только тогда, когда дурное положение представляется продолжающимся только по его собственной вине и для своего улучшения нуждается только в его собственном желании изменить свою судьбу» (248–249). В связи с этим Чернышевский побуждал писателей «отстать от идеализирования народа» (214), от писания «панегириков ему»: «Если положение представляется безнадежным, вы толкуете только о том, какие хорошие качества находятся в несчастном, как безвинно он страдает, как злы к нему люди, и так далее. Порицать его самого показалось бы вам напрасною жестокостью, говорить о его недостатках – пошлою бесчувственностью <...> говорить в ином тоне было бы вам совестно» (214).

Вслед за этим и появилась тирада о гоголевской трактовке образа Акакия Акакиевича: «Упоминает ли Гоголь о каких-нибудь недостатках Акакия Акакиевича? Нет, Акакий Акакиевич безусловно прав и хорош; вся беда его приписывается бесчувствию, пошлости и грубости людей, от которых зависит его судьба <...> Акакий Акакиевич страдает и погибает от человеческого жестокосердия. Так, подлецом почел бы себя Гоголь, если бы рассказал нам о нём другим тоном» (215). С точки же зрения критика, «причина бедствий и унижений» Акакия Акакиевича заключалась в «нём самом, только в нём самом» (215).

Заметим, кстати, что до этого Чернышевский неоднократно, в том числе размышляя о Гоголе и его героях, ссылаясь на довлеющий характер общественных обстоятельств, препятствовавших нормальному человеческому существованию: «Лучше всего подумать о том, какими обстоятельствами и отношениями порождены и поддерживаются в нашем обществе пороки, которыми мы недовольны, и каким образом можно было бы отстранить эти обстоятельства и улучшить эти отношения» (156). «Кто поручится за человека, живущего в нашем обществе? – вопрошал критик. – Кто поручится, что самое горячее сердце не остынет, самое благородное не испортится?» (187).

Чернышевский «выставлял» «невыгодную для Акакия Акакиевича часть правды»: тот, как оказалось, «имел множество недостатков, при которых так и следовало ему жить и умереть, как он жил и умер. Он был круглый невежда и совершенный идиот, ни к чему не способный. Это видно из рассказа о нём, хотя рассказ написан не с тою целью» (216).

Думается, сюжет с Акакием Акакиевичем, опосредованно относившийся к теме статьи, появился здесь как наиболее убедительная персонафикация, подходящая для публицистического заострения мысли. Народ, по Чернышевскому, «являлся перед нами в виде Акакия Акакиевича, о котором можно только сожалеть <...>, писали о



народе точно так, как написал Гоголь об Акакии Акакиевиче. Ни одного слова жестокого или порицающего. Все недостатки прячутся, затушевываются, замазываются. Налегается только на то, что он несчастен, несчастен, несчастен» (216).

Чернышевский весьма критично отзывался о послегоголевской литературе, посвящённой теме народа, поскольку она, с его точки зрения, «насквозь пропитана запахом “шинели” Акакия Акакиевича» (217)<sup>3</sup>. Характеризуя положение дел на важнейшем участке литературы с помощью уподобления – изображение мужика сродни изображению маленького человека, – критик ограничился самым выразительным примером – гоголевским. «Бедные люди» Достоевского, присутствуя подспудно, в оценках Чернышевского не фигурировали. Думается, это объяснялось и универсальностью приведённого аргумента, и неприязнью к чрезмерной «умилённости» автора главным героем, и пониманием принципиальных различий Башмачкина и Девушкина. Последний был иной природы<sup>4</sup>.

Когда Чернышевский нелюбезно отзывался о гоголевском герое, Чехов только родился. Ко времени вхождения его в литературу – к началу 80-х гг. – традиция изображения маленького человека обрела классические формы. Тип как таковой остался, поскольку иерархические отношения в обществе сохранились, но под пером Чехова первой половины 80-х гг., в изменившихся условиях, он получает новые черты, которые корреспондируют, скорее всего, с результатами художественных исканий предшественников, а не с интерпретациями их в критике. Во всяком случае, никаких свидетельств о знакомстве Чехова с рассматриваемой позицией Чернышевского, тем более об ориентации на неё, нет<sup>5</sup>. И тем не менее в научный оборот давно вошло суждение такого рода: «Чеховское отношение к “маленькому человеку” совпадает с мыслями, высказанными Чернышевским»<sup>6</sup>. Материал ранних рассказов Чехова убеждает исследователя в том, что писатель «прежде всего решительно отказывается от каких бы то ни было иллюзий, стремясь противопоставить им нагую правду жизни», что, «рисую действительное положение вещей, Чехов показывает не только умственное убожество своих героев, не только отсутствие у них чувства собственного достоинства, элементарнейшего самосознания, но и их кровную связь с тяготеющим над ними деспотизмом»<sup>7</sup>. По логике Г. Бердникова, воссозданная Чеховым картина падения маленького человека объективно восходит к развенчанию его Чернышевским. Иными словами, обвиняя маленького человека, дабы таким образом «пробудить у него стремление бороться за своё человеческое достоинство»<sup>8</sup>, Чехов идёт вслед за великим демократом. При этом исследователь ссылается, как в своё время Чернышевский, и на давление общества, видя в этом одну из причин падения известного героя: «Дело не в особенностях характера Червякова,

а в господствующих нравах»<sup>9</sup>, «мы сознательно выделили те юмористические рассказы Чехова, в которых особенно ясно и отчетливо проявляется связь между общественным устройством и явлениями нравственного мира»<sup>10</sup>.

Что же на самом деле сказал Чехов о маленьком человеке? В чеховских героях такого плана, безусловно, проглядывают черты, ухватки, узнаются интонации, преимущественно воспринятые от предшественников, поскольку они многократно подтверждены жизненной практикой. Маленький человек ранних рассказов Чехова входит в поле зрения практически всех исследователей его прозы, реже – в аспекте традиции. Сошлёмся для начала только на один варьирующийся сюжет – так называемую «праздничную повинность»<sup>11</sup>. У Чехова своеобразный цикл таких рассказов («Пережитое» – 1883, «Лист» и «Либерал» – 1884, «Праздничная повинность», «Мелюзга», «Восклицательный знак», «Новогодние великомученики» – 1885 и т.д.).

Рассмотрим мотив хамелеонства, наследующий как минимум вековую традицию и оказавшийся одним из ключевых в чеховском слове о маленьком человеке. Герой-хамелеон, антигерой – постоянный персонаж ранней прозы Чехова. Не менее шестидесяти случаев обращения к нему можно насчитать в чеховской «мелочишке» 1880-го – начала 1886 гг. Пик приходится на 1883–84 гг. и увенчивается «эталонными» «Хамелеоном» и «Маской». Видимо, исчерпывающая завершенность этих образов компенсировала потребность оглянуться на их многочисленные предвращения.

В историко-литературной ретроспекции мотива и образа – знаковые и хрестоматийно знакомые эпизоды из жизни гоголевских и щедринских героев, персонажей Достоевского. Чеховская интерпретация распространённых коллизий генетически восходит к ним, в частности, к сравнительному описанию двух родов мужчин – «тоненьких» и «толстых» – в первой главе «Мёртвых душ»<sup>12</sup>; к первому же авторскому отступлению – «об умении обращаться» – со знаменательно хамелеонским «превращением» правителя канцелярии, «Прометей», «орла» в «куропатку», «муху» и даже «уничтожением» «в песчинку»<sup>13</sup>; к всё тому же «умению обращаться», которое материализовано в заглавной метафоре щедринского цикла «Помпадуры и помпадурши»: образу «молота плющильного», способного – после внушения «правил учтивости» – разбивать не только «целые кувалды чугунные», но и «кедровый орешек, положенный на стекло карманных часов»<sup>14</sup>.

То, как вырабатывается ввевшаяся привычка мимикрировать, показано уже в первом рассказе щедринского цикла – «Прощаюсь, ангел мой, с тобой!» Предыстория отставного генерала – настоящие хамелеонские прописи. Пробным камнем для его подчинённых становятся проводы старого помпадура. От вице-губернатора заглазно он по-



лучает «дурака»), а на прощальном обеде – «горячие дары, которые безмолвно, но красноречиво пламенеют в наших сердцах» (19). Под стать остальным и рассказчик, «человек преданный», как он себя аттестует: осмотрительно ведёт себя при вице-губернаторе, за счастье почитает быть допущенным к важной особе («первый раз в жизни я шёл рядом с начальником, а не следовал за ним “петушком”: несчастья уравнивают все ранги») (12), но выйдя на улицу, этот господин резко меняется, грубо кричит на «мужичьё проклятое», «свою обязанность» исполняет и его рука, обрушиваясь на «дерзкого» (13-14).

«Разночинец» Чехов героями ранней прозы избирает преимущественно не «толстых», а ближе стоящих к нему «тонких», находящихся у подножия пирамиды и потому в большей степени обречённых на поиски разного рода приспособительных, защитных приёмов. Ситуация провоцирует на хамелеонство в его неисчислимых формах и оттенках. Само слово «хамелеон» в чеховской прозе впервые появляется в рассказе «Двое в одном» (1883). В самом начале из уст героя, «высокопоставленного лица», звучит решительный и безжалостный приговор: «Не верьте этим иудам, хамелеонам!» Это «значительное лицо» едет в битком набитом вагоне конки и рассматривает «сих малых». В одном из пассажиров Оно с трудом узнает одного из своих канцелярских: «Человечек в заячьей шубёнке ужасно походил на Ивана Капитоньча <...> маленькое, пришибленное, приплюснутое создание, живущее для того только, чтобы поднимать уроненные платки и поздравлять с праздником. Он молод, но спина его согнута в дугу, колени вечно подогнуты, руки запачканы и по швам <...> лицо его кисло и жалко. <...> При виде меня он дрожит, бледнеет и краснеет, точно я съест его хочу или зарезать, а когда я его распекаю, он зябнет и трясётся всеми членами. Приниженнее, молчаливее и ничтожнее его я не знаю никого другого»<sup>15</sup>. Виденное – разительный контраст с примелькавшимся: «человечек не был так согнут», «не казался пришибленным, держал себя развязно и, что возмутительнее всего, говорил с соседом о политике. Его слушал весь вагон». Потом «он набросился на кондуктора за то, что в вагоне было темно» («Что это за беспорядки? Проучить вас некому!..»), взвился на замечание кондуктора о том, что «здесь курить не велено» («Кто это не велел? Кто имеет право? Это посягательство на свободу! Я никому не позволю посягать на свою свободу! Я свободный человек!») (2, 10).

Но голос этого «свободного человека» дрогнул, как только он узнал смех своего начальника. Весь он «моментально изменился», «сел и спрятал свой носик в заячьем меху». Начальник недоумевает, как «дрянь этакая» умеет говорить слова «филистер» и «свобода»: «Верь после этого жалким физиономиям этих хамелеонов!» (2, 11). Приговор, прозвучавший дважды, приходится

принимать с поправкой на того, кто его произносит. Причина гнева «высокопоставленного лица», вполне вероятно, в том, что оно увидело себя введённым в заблуждение «жалкой физиономией» подчинённого, обманутым и даже преданным: образ заурядного хамелеона ассоциируется у него с библейским героем. Но, очевидно, и автор не одобряет подобного раскрепощения, и ему хамелеонство представляется не столь безобидным, как может показаться на первый взгляд. Дело в том, что поведением героя обесценивается само понятие свободы. Громогласное заявление его о правах и свободах демагогично и поэтому не возвышает, а ещё более унижает: за образец им принято, судя по замашкам, безраздельное желание эти свободы попирает. Роль с чужого голоса, к тому же дурно исполненная, производит отталкивающее впечатление своей карикатурностью, свидетельствует о рабской психологии разбушевавшегося крикуна, что не может вызывать к нему сочувственного отношения. Чехов не наделяет героя действительной внутренней свободой, которая и делает человека человеком. Хамелеонство выступает здесь как примитивнейшая двойственность («двое в одном»), бесконечно далёкая от раздвоенности, двойничества с его «светлой»<sup>16</sup> идеей.

Писатель не шадит коллежских регистраторов: они, на его взгляд, «среди великих мира сего то же, что пескарь среди рыб» (2, 182)<sup>17</sup>; «среди экспонентов, удостоенных чугунных медалей по русскому отделу на выставке в Амстердаме», коллежские регистраторы, по Чехову, отмечены «за эластические спинные хребты» (1883); «если бы мужчины одевались по-женски, – не успокаивается художник, – то – коллежские регистраторы носили бы ситцевые платья и, пожалуй, по высокаторжественным дням – барежевые» (3, 7)<sup>18</sup>. И было за что их так высмеивать, а то и низводить, особенно в тех случаях, когда они предосудительными способами пытались продемонстрировать своё равенство со всеми, тем паче – превосходство.

Герой рассказа «Орден» (1884) – коллежский регистратор, учитель военной прогимназии Лев Пустяков – нашёл простой способ возвысить себя как в собственных глазах, так и в глазах окружающих: «сжульничал», раздобыл орден, чтобы произвести надлежащее впечатление на обеде у купца Спичкина. Не замедлила появиться и перемена в самоощущении: «Как-то и уважения к себе больше чувствуешь! <...> Маленькая штучка, а какой фурор производит!» (2, 302) – говорит он о заимствованном Станиславе. Но от самодовольного чувства Пустякову пришлось быстро отказаться, убоявшись разоблачения и срама: среди гостей он увидел своего коллегу. Комический эффект усиливается тем, что учитель французского языка, оказывается, поддался тому же соблазну покрасоваться. Следовательно, «оба грешны одним грехом, и некому, стало быть, доносить и бесславить» (2, 304). Нравственному



суду эти пошляки хамелеонские наклонности не подвергают.

Не приходится ждать этого и от героев таких рассказов, как «Исповедь», «На гвозде», «Торжество победителя», «Рассказ, которому трудно подобрать название», «Депутат, или повесть о том, как у Дездемонова 25 рублей пропало», «Толстый и тонкий», «Братец» (все рассказы – 1883 г.), «Хамелеон» (1884), «Вверх по лестнице» (1885).

Герой рассказа «Исповедь» вспоминает, как его, по всей видимости, мелкую сошку, незаметное безобидное существо лакейской должности, повысили по службе, хотя и с ничтожной прибавкой к жалованью: «меня, человека, переделали в кассира!» (2, 26). Радовался он этому событию безмерно, «чувствовал себя на шестнадцатом небе», но уровень притязаний говорит сам за себя: «На душе было волготно, хорошо, как у извозчика, которому по ошибке вместо двугривенного золотой дали». Эйфория застилает глаза, и ново-явленный кассир упивается тем, как все вокруг переменялись: «Я увидел в человеке такие чудные качества, каких ранее и не подозревал» (2, 26).

Вместе со всеми – что особенно отрадно для героя – «изменился и З.Н. Казусов, один из членов правления, человек гордый, надменный, игнорирующий мелкую рыбицу». Ради того, чтобы можно было беспрепятственно поживиться, Казусов совершил подвиг хамелеонства: «ласково улыбаясь, начал хлопать» новоявленного кассира по плечу и, желая подольститься, попенял: «Горды вы, батенька, не по летам. <...> Нехорошо! Отчего никогда не зайдёте? Грешно, сударь! А у меня собирается молодёжь, весело так бывает. Дочки всё спрашивают: “Отчего это вы, папаша, не позовёте Григория Кузьмича? Ведь он такой милый!” Да разве затаишь его? Впрочем, говорю, попробую, приглашу. Не лямаетесь же батенька, приходите!» (2, 26).

К герою, ставшему кассиром, протянул руки и брат, который до этого «терпеть его не мог», и «душечка» открыла ему свои объятья. Все беззащитно пользовались мягкостью, уступчивостью человека, который не мог отказать более сильному и вошёл во вкус, ворую: Казусову тому же «нельзя не дать. Он у нас воротила, и может каждую минуту спихнуть с места». За неделю до ареста по просьбе сослуживцев растратчик казённых денег устраивает вечер: «Все мои девять комнат были запружены народом, – вспоминает он. – Были старшие и младшие. <...> Были и такие, пред которыми гнул в дугу даже сам Казусов. <...> И все эти кричавшие, подносившие, лобызавшие шептались и показывали мне кукиш, когда я отворачивался» (2, 28). Налицо обоюдное хамелеонство: с одной стороны, того, кто, «вознесённый» из грязи, пользуется преимуществами своего нового положения, а потом падает в пропасть, с другой стороны, – тех, кто его к этой пропасти, «злорадно ухмыляясь» за спиной, подталкивает.

От подобных героев даже внешне выгодно отличается Максим Кузьмич Салюттов («Женщина без предрассудков» – 1883). Его чин тоже «невелик», но, казалось бы, ничего общего с «человеком-ветошкой»<sup>19</sup> обладатель такой фамилии и внешности иметь не может: «высок, широкоплеч, осанист <...> Сила его чрезвычайна. <...> Он храбр и смел. Не видели, чтобы он когда-нибудь чего-нибудь боялся. Напротив, его самого бояться и бледнеют перед ним, когда он бывает сердит. <...> Сила человек!» (2, 52). Однако и он не без изъяна: «Сила его стуживалась<sup>20</sup>, и большое тело обращалось в большой пустопорожний сосуд», когда он объяснялся в любви. Слабое место Салюттова – его прошлое. Он стесняется признаться в том, что «родители были не знатны и страшно бедны», что сам «был нищим»: «Будучи мальчиком, я продавал яблоки, груши. <...> Я был клоуном в цирке!» (2, 54). Память о прошлом порождает гипертрофированную неуверенность героя в сердечных делах. Но, к счастью, рудиментарное чувство незащищённости, забитости преодолевается любовью и пониманием Елены Гавриловны.

А какая участь может быть уготована гувернантке, героине рассказа с красноречивым названием «Размазня» (1883)? На умышленный произвол хозяина она «молчит», «не протестует». «Разве можно на этом свете не быть зубастой?» – возмущается тот. – «Она кисло улыбнулась, и я прочёл на её лице: “Можно”» (2, 63). К слову сказать, только несколько героев ранних рассказов Чехова, как и все поставленные в зависимость от иерархических отношений, лишены лакейского инстинкта, сохраняют человеческое лицо, не желая пресмыкаться. Это, к примеру, объездчик Трифон из одноименного рассказа (1884) и Машенька Павлецкая из «Переполоха» (1886). «Молоденькая институтка, едва только кончившая курс», не задумываясь покидает дом Кушкиных, где она служила в гувернантках, после оскорбительного подозрения в краже хозяйской брошки. «Ученая беднячка» низость и подлость называет своими именами и умеет их презирать, не считая для себя возможным претерпевать обстоятельства. Эти персонажи – антиподы разнокалиберных хамелеонов, носители не умогнательного, а воплощаемого нравственного идеала. В сравнении с ними бросается в глаза, что хамелеонство свойственно натурам мелкотравчатым, какой бы пост ни занимал человек, кем бы в табели о рангах ни числился. У Чехова от хамелеонства не застрахован никто.

Среди чеховских героев начальной поры «тузы» с безнравственной привычкой к хамелеонству – не исключение. Помимо названного Казусова, это герой рассказа «Речь и ремешок» (1882). «Он собрал нас к себе в кабинет, – повествует рассказчик, – и голосом, дрожащим от слез, трогательным, нежным, приятельским, но не допускающим возражений, сказал нам речь» (1,



432). Герой мастерски вошёл в роль, обращаясь к подчинённым «не как начальник, а как человек», с просьбой отрешиться от либерализма, если «читаешь Щедрина», «читаешь тоже что-то такое», «сочиняешь... тово... статьи... и вольно держишь себя». Сцена была сыграна настолько артистически, что отеческий тон «пронял всех»: «Душа наша мылась в его словах. Нам хотелось умереть от раскаяния. Нам хотелось облобызать его, пасть ниц... зарыдать...» (1, 432). Но оказалось достаточно «ничтожества» – случайно выпавшего из кармана ремешка, – чтобы «здание рухнуло», «апофеоз не удался»: чиновники прыснули, «впечатление, произведённое речью, исчезло», и «всё погибло». Раздался «громовой голос», метнулся устрашающий взгляд. «Его глаза глядят на меня, только на меня... в упор!» – ужасается рассказчик. Маска сорвана, мгновенная перемена открывает истинное лицо начальника: «Где ты находишься? А? Ты в портерной? А? Забываешься? Подавай в отставку! Мне либералов не надо» (1, 433). От того, что сначала герой показан в уязвимой, слабой для себя позиции, и только потом – молниеносно вернувшись к привычной, сильной, в хамелеонской его натуре ничего не меняет. Просто с этого момента заигрывание с подчинёнными может не произвести желаемого эффекта, или он достигим при более изощрённом артистизме, цинично поддерживающем власть.

Генерал Шмыгалов из рассказа «Опекун» (1883) тоже резко меняется на наших глазах, но уже в ситуации домашней, частной жизни, хотя власть чина распространяется и на эту сферу. Генерал, в ответ на предложение молодым человеком руки и сердца его племяннице, сначала – сообразно статусу – обрушивает на него начальственный гнев: жених – «не пара» его племяннице «ни по состоянию», «ни по общественному положению». «Вы рехнулись что ли?» – кричит он, «топнув ногою». «Вы рехнулись, я вас спрашиваю? Вы... осмеливаетесь? – прошипел он, багровея. – Вы осмеливаетесь, мальчишка, молокосос?!» (2, 259). И далее – по нарастающей, «так грозно, что даже стёкла зазвенели», – характерные окрики: «Встать!! Вы забываете, с кем вы говорите! Извольте-с убираться и не показываться мне на глаза! Извольте выйти! Вон-с!» (2, 259). Но безродный жених, сумевший побороть робость и стойко продержавшийся перед лицом такой грозной силы, – редкий случай отпора ей – сумел вогнать генерала в краску, заставил сконфузиться и даже принести извинения: «Шмыгалов глубоко вздохнул и замигал глазами. По лицу его разлилось выражение пришибленности, забитости. <...> Он стал казаться таким несчастным, обиженным! На лбу и на носу выступил крупный пот» (2, 261). Немыслимая метаморфоза объясняется просто: необходимость так яростно отстаивать честь семейства отпала, поскольку опекун был уличён в растрате и прощён. Оказывается, моло-

дой человек совершенно искренне собрался жениться не ради денег и карьеры, а по любви.

В «Альбоме» (1884) действительный статский советник Жмыхов в честь юбилея принимает подарок от своих подчинённых. Выведен он в роли «страдательной», как объект «традиционного низкопоклонства». Однако формальное по сути и сбивчивое по форме поздравление сослуживцев юбиляра взволновало: «По левой морщинистой щеке поползла слеза. – Господа! – сказал он дрожащим голосом. – ...Я тронут... даже... весьма... и верьте, друзья, что никто не желает вам так добра, как я... А ежели что и было, то для вашей же пользы» (2, 380). Прилично случаю, непрменная для чиновника четвёртого класса устрашающая властность здесь обозначена только намёком, но каждый помнит о своём месте даже в апогее торжеств: «Жмыхов, действительный статский советник, поцеловался с титулярным советником Кратеровым, который не ожидал такой чести и побледнел от восторга». Для чиновника десятого класса это – событие. Несмотря на то что «юбиляр ещё несколько раз принимался плакать от наплыва неизведанных доселе радостных чувств» (2, 381), остаётся повторить гончаровское: «А человек где? Человека забыли». Изъявлены и приняты на веру верноподданнические чувства. Каждая сторона счастлива по-своему, но что за всем этим стоит, объяснять не приходится.

Итак, Чехов художнически живописует хамелеонство явное и не проявленное (случай не представился), хамелеонство превосходительств нынешних и потенциальных, но справедливости ради требуется сказать, что чаще и беспощаднее всего – хамелеонство бесправных низших чинов, людей «подножия», придавленных иерархической громадой.

Маленький человек Пушкина, Гоголя, «униженные и оскорблённые» Достоевского были ограждены от подозрений в авторской немилости, утверждены в правах на гуманное к себе отношение. Достоевский, как известно, пошёл дальше и в первом своём романе показал маленького человека личностью, способной в стеснённых обстоятельствах сохранять чувство собственного достоинства, заговорил о превосходстве в нём нравственного над социально обусловленным. Правда, после таких «бедных людей» появились Голядкин, в котором это нравственное было драматически потеснено и едва не загублено, «обитатели» села Степанчиково под тиранией Опискина, человек «подполья»... Чехов вслед за Достоевским, который низверг с пьедестала им же возвеличенного маленького человека, посягает на святое: за редким исключением маленький человек у него без всяких поправок таковой: ничтожество, нолик, червяк, пигмей, «мелюзга». Другое дело, что «мелюзговость» могла быть присуща всем – независимо от исходной сословной прикрепленности и сословных перегородок – как характеристика



нравственно-психологического порядка, точнее – безнравственного.

Этапным моментом в развитии мотива хамелеонства «мелюзги» является философская миниатюра «Человек» (декабрь 1886). «Тяжело и скучно быть человеком! <...> О, как я буду счастлив, когда перестану быть человеком!» – в устах официанта, осознающего своё приниженное, рабское положение и тяготящегося им, это звучит более чем достойно, если бы не финал: «Молодой пессимист <...> сделал почтительное лицо, рванулся с места и побежал» (4, 461) ... прислуживать, а судя по готовности и рвению – «прислуживаться». По всей видимости, нежелание «быть человеком» в узком смысле слова оборачивается для него тем же самым и в переносном<sup>21</sup>. Устремление, идеальное с философской точки зрения, окарικатурируется ресторанным «человеком», но от этого в авторском видении оно не перестаёт быть идеальной целью<sup>22</sup>. И хотя «смешное» в рассказе преобладает, за ним уже угадывается «трагическое», пронизывающее в том числе и характерно чеховские размышления о счастье.

Сказав своё слово о хамелеонстве, Чехов постепенно вступает в иную полосу творческого осмысления действительности. Любопытно и, на наш взгляд, показательное, что с начала 1886 г. писатель покидает обкатанную колею. В гораздо большей степени его начинает занимать другое, вызревшее в недрах неисчерпаемой темы: «томление о счастье и бессмыслие жизни», один за другим будут появляться «рассказы о тоскующем человеке» и среди них, открывая список, – «Мелюзга» (1885)<sup>23</sup>.

Думается, такой поворот намечается не только потому, что в декабре 1885 г. состоялась поездка писателя в Петербург, произошло знакомство с Сувориным и возникло ощущение перспектив. Более значительными представляются причины внутренние. Чехов предъявил хамелеонству не столько социальный, сколько нравственный счёт, в том числе личный. Видимо, 1886-й год стал переломным для писателя ещё и потому, что к этому времени, неустанно «дрессируя» себя, «выдавливая из себя по каплям раба», он как человек с родовым наследием крепостного, детство и раннюю юность проведший в унижениях, чувствует, что «в его жилах течёт уже не рабская кровь, а настоящая человеческая»<sup>24</sup>. Обретая наконец желанное чувство внутренней свободы, он не забудет того, через что прошёл.

В этом же ряду следует рассматривать и многократно цитировавшийся совет Чехова в письме к старшему брату Александру от 4 января 1886 г.: «Брось ты, сделай милость, своих угнетённых коллежских регистраторов! Неужели ты нюхом не чуешь, что эта тема уже отжила и нагоняет зевоту? <...> Реальнее теперь изображать коллежских регистраторов, не дающих жить их превосходительствам» (I, 176).

Итак, публицистическая критика маленького

человека Чернышевским была неслучайной, исходила из революционно-демократической логики его понимания развивающейся действительности. Речь шла о соответствии или несоответствии человека назревающим преобразованиям. В оценке героя Чернышевский руководствовался социально-историческим критерием, винил маленького человека за то, что он не может и не хочет осознать себя человеком.

Для Чехова критика маленького человека тоже была неслучайной. Самую невыгодную его сторону – хамелеонство как добровольное самоуменьшение, самоуничижение – художник изображал, располагая опытом предшественников и своим собственным житейским опытом, не ограниченным одними наблюдениями. В свою очередь «дискредитируя» героя, писатель оценивал его «мелюзговость» с точки зрения нравственно-этической, нравственно-философской. При этом он концентрировал внимание не на пресловутой «среде», не на объективных причинах, а на субъективном факторе: в одних и тех же обстоятельствах разные люди ведут себя по-разному, в большинстве своём – не заботясь о сохранении человеческого облика. Примеры обратного, показанные Чеховым, в контексте его раннего творчества и в дальнейшем выполняли функцию нравственной константы.

Однако было бы несправедливым отрицать, что критическое переосмысление маленького человека как типа было начато в «Двойнике» Достоевского, критика этого феномена Чернышевским совпала по времени с появлением целого ряда хамелеонствующих героев того же писателя. Чеховские персонажи довершают представление об индивидуально-авторской специфике классического характера.

## Примечания

- <sup>1</sup> Чернышевский Н.Г. Избранные эстетические произведения. М., 1973. С. 416. Далее цитируется по этому изданию с указанием страниц в тексте.
- <sup>2</sup> Чернышевский Н.Г. Литературная критика: В 2 т. М., 1981. Т. 2. С. 186. Далее цитируется по этому изданию с указанием страниц в тексте.
- <sup>3</sup> Попутно отметим, что в ряд таких писателей вместе с Григоровичем помещён Тургенев, о котором ещё Белинский сказал, что он «зашёл к народу с такой стороны, с какой до него к нему никто ещё не заходил» (Белинский В.Г. Взгляд на русскую литературу 1847 года. Статья вторая // Белинский В.Г. Собр. соч.: В 3 т. М., 1948. Т. 3. С. 832). Видимо, Чернышевский, поставив «Записки охотника» на одну доску с «Шинелью», имел в виду опять-таки идеализацию, только иного рода, чем в случае с Акакием Акакиевичем, – когда «изображали нам простолыдинов такими благородными, возвышенными, добродетельными, кроткими и умными, терпеливыми и энергичными, что оставалось только умиляться над описаниями их интересных достоинств и проливать нежные слёзы о неприятностях, которым подвергались иные такие милые существа, и подвергались всегда без всякой вины или даже причины



- в самих себе» (248). В описании этом угадывались в большей степени «бедные люди» Достоевского, чем Тургенева, косвенным образом характеристика касалась их. Нельзя не вспомнить при этом известного признательного высказывания Достоевского о том, насколько сильным было гоголевское воздействие на него самого и писателей «натуральной школы»: «Все мы вышли из гоголевской “Шинели”».
- 4 О сложном, переменчивом отношении Чернышевского к Достоевскому см.: *Егоров Б.Ф.* Чернышевский о Достоевском // *Чернышевский*. Статьи, исследования и материалы. Саратов. 1978. Вып. 8. С. 120–126.
- 5 Известно только об одной «встрече» критика с писателем: Чернышевский после возвращения из Сибири прочёл «Степь» и некоторые рассказы уже состоявшегося художника и благожелательно отозвался о них в письме Барышеву-Мясницкому, о чём сам автор знать никак не мог. Подробнее об этом: *Свердлина С.В.* Чернышевский читает «Степь» А.П. Чехова // *Чернышевский*. Статьи, исследования и материалы. Саратов, 1997. Вып. 12. С. 36–45.
- 6 *Бердников Г.П.* А.П. Чехов, идейные и творческие искания. 3-е изд., дораб. М., 1984. С. 28.
- 7 Там же. С. 29.
- 8 Там же. С. 28.
- 9 Там же. С. 30.
- 10 Там же. С. 34.
- 11 *Борисов Ю.Н.* Грибоедовские мотивы в прозе А.П. Чехова (рассказ «Праздничная повинность») // Изучение литературы в вузе: Учеб. пособие. Саратов, 1999. Вып. 2. С. 68–76.
- 12 На это обратил внимание М. Громов (см.: *Громов М.* Поэтика традиции (Чехов и Гоголь) // Громов М. Книга о Чехове. М., 1989. С. 147–149). По мнению исследователя, у Чехова «традиция реализуется зачастую в формах травестирования и пародии, как это произошло с классическим типом “маленького чиновника”»: в истории Червякова «переосмыслен не только сюжетный конфликт, но весь художественный мир гоголевской “Шинели”» (Там же. С. 147).
- 13 *Гоголь Н.В.* Собр. соч.: В 7 т. М., 1978. Т. 5. С. 47–48.
- 14 *Салтыков-Щедрин М.Е.* Собр. соч. и писем: В 20 т. М., 1969. Т. 8. С. 9. Далее цитируется по этому изданию с указанием страниц в тексте. Отметим, что сатирик работал над этим циклом рассказов с 1863 по 1874 г., т.е. описанное им приходилось на годы первых жизненных уроков будущего писателя Чехова.
- 15 *Чехов А.П.* Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Соч.: В 18 т. М., 1975. Т. 2. С. 9. Далее цитируется по этому изданию с указанием тома и страниц в тексте.
- 16 В начале 1870-х гг. Достоевский занёс в записную тетрадь свои мысли о «Двойнике», появившемся вслед за «Бедными людьми»: «Повесть эта мне положительно не удалась, но идея её была довольно светлая, и серьёзное этой идеи я никогда ничего в литературе не проводил» (*Достоевский Ф.М.* Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1972. Т. 1. С. 489). Как известно, в центре внимания автора – мотив внутреннего раздвоения героя, борьбы противоположных побуждений, приводящей к возобладанию в нём нравственного начала. Чеховская реминисценция с внешними элементами характеристики Голядкина-младшего – не в пользу собственного героя.
- 17 Из рассказа «3000 иностранных слов, вошедших в употребление русского языка» (1883).
- 18 Из рассказа «Несообразные мысли» (1884).
- 19 Этот выразительный образ встречается в «Бедных людях». Нельзя не согласиться с тем, что Достоевский «наполнил эту формулу глубоким трагическим содержанием, превратив её в обобщённое выражение судьбы забитого и униженного человека, страдающего от потери своих человеческих прав» (*Достоевский Ф.М.* Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1972. Т. 1. С. 487).
- 20 Как указывают комментаторы, это словечко в своё время было усвоено Достоевским «из полушутливого жаргона учащихся Главного инженерного училища». В цитированной выше записной тетради Достоевского есть такие слова: «Я изобрёл или, лучше сказать, ввёл одно только слово в русский язык, и оно принялось, все употребляют: глагол “стусеваться” (в Голядкине)» (Там же. С. 489). В чеховском контексте этот глагол невольно воспринимается отсылкой к «источнику».
- 21 Через четверть века И. Шмелёв в своём «Человеке из ресторана», через голову Чехова, сосредоточившегося на неблагодарном материале, в духе «Бедных людей» Достоевского возродит безоговорочно уважительное отношение к «малым сим».
- 22 Такой приём скрытой характеристики героя Чехов будет использовать не менее концептуально и впредь – применительно ещё к одному «человеку». Беликов – исключительная карикатура на «влюблённого антропоса», но именно это, недоступное «человеку в футляре», состояние души и есть авторский критерий прекрасного.
- 23 Из черновых записей А.П. Скафтымова о Чехове / Сост., вступ. заметка, подготовка текстов, примеч.: А.А. Гапоненкова // *Филология: Межвуз. сб. науч. тр.* Саратов, 1998. Вып. 2. С. 174–177, 180.
- 24 Из письма Суворину от седьмого января 1889 года (*Чехов А.П.* Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Письма: В 12 т. М., 1976. Т. 3. С. 133). Далее цитируется по этому изданию с указанием тома и страниц в тексте.